



Александр Куприн
Звезда Соломона

«Public Domain»

1917

Куприн А. И.

Звезда Соломона / А. И. Куприн — «Public Domain», 1917

© Куприн А. И., 1917
© Public Domain, 1917

Содержание

I	5
II	7
III	11
IV	16
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Александр Куприн

Звезда Соломона

I

Странные и маловероятные события, о которых сейчас будет рассказано, произошли в начале нынешнего столетия в жизни одного молодого человека, ничем не замечательного, кроме разве своей скромности, доброты и полнейшей неизвестности миру. Звали его Иван Степанович Цвет. Служил он маленьким чиновником в Сиротском суде, даже, говоря точнее, и не чиновником, а только канцелярским служителем, потому что еще не выслужил первого громкого чина коллежского регистратора и получал тридцать семь рублей двадцать четыре с половиной копейки в месяц. Конечно, трудно было бы сводить концы и концами при таком ничтожном жалованье, но милостивая судьба благоволила к Цвету, должно быть, за его душевную простоту. У него был малюсенький, но чистенький, свежий и приятный голосок, так себе, карманный голосишко, тенорок-брелок, – сокровище не Бог весть какой важности, но все-таки благодаря ему Цвет вел в церковном хоре своего богатого прихода, заменяя иногда солистов, а это вместе с разными певческими халтурами, вроде свадеб, молебнов, похорон, панихид и прочего, увеличивало более чем вдвое его скудный казенный заработок. Кроме того, он с удивительным мастерством и вкусом вырезал и клеил из бумаги, фольги, позументов и обрезков атласа и шелка очень изящные бонбоньерки для кондитерских, блестящие котильонные ордена и елочные украшения. Это побочное ремесло тоже давало небольшую прибыль, которую Иван Степанович аккуратно высылал в город Кинешму своей матушке, вдове брендмейстера, тихо доживавшей старушечий век на нищенской пенсии в крошечном собственном домишке, вместе с двумя дочерьми, перезрелыми и весьма некрасивыми девицами.

Жил Цвет мирно и уютно, вот уже шестой год подряд, все в одной и той же комнате в мансарде над пятым этажом. Потолком ему служил наклонный и трехгранный скат крыши, отчего вся комнатка имела форму гроба; зимой бывало в ней холодно, а летом чрезвычайно жарко. Зато за окном был довольно широкий внешний выступ, на котором Цвет по весне выгонял в лучинных коробках настурцию, резеду, лакфиоль, петунью и душистый горошек. Зимой же на внутреннем подоконнике тарацились колючие бородавчатые кактусы и степенно благоухала герань. Между тюлевыми занавесками, подхваченными синими бантами, висела клетка с породистым голосистым кенарем, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и фарфоровом корытце, распевал пронзительно и самозабвенно. У кровати стояли дешевенькие ширмочки с китайским рисунком, а в красном углу, обрамленное шитым старинным костромским полотенцем, утверждено было Божие милосердие, образ Богородицы-троеручицы, а перед ним под праздники сонно и сладостно теплилась розовая граненая лампадка.

И все любили Ивана Степановича. Квартирная хозяйка – за порядочное, в пример иным прочим, буйным и скоропереходящим жильцам, поведение, товарищи – за открытый приветливый характер, за всегдашнюю готовность услужить работой и денежной ссудой или заменить на дежурстве товарища, увлекаемого любовным свиданием; начальство – за трезвость, прекрасный почерк и точность по службе. Своим канареечным прозябанием сам Цвет был весьма доволен и никогда не испытывал судьбу чрезмерными вожделениями. Хотелось ему, правда, и круто хотелось – получить заветный первый чин и надеть в одно счастливое утро великолепную фуражку с темно-зеленым бархатным околышем, с зеркалом и с широкой тульей, франтовато притиснутой с обоих боков. И экзамен был им на этот предмет сдан, только далеко не блестяще, особенно по географии и истории, и потому мечты носились пока в густом розовом тумане. Давно заказанная фуражка покоилась в картонке, в нижнем ящике комода. Иногда, придя из

присутствия, Цвет извлекал ее на свет Божий, приглаживая бархат рукавом и сдувал с сукна невидимые пылинки. Он не курил, не пил, не был ни картежником, ни волокитой. Позволял себе только разумные и дешевые удовольствия: по субботам, после всенощной, – жаркую баню с долгим любовным пареньем на полке, а в воскресенье утром – кофе с топлеными сливками и с шафранным кренделем. Изредка совершал он прогулку на вербы, на троицкое катанье, на балаганы, на ледоход и на Иордань и раз в год ходил в театр на какую-нибудь сильную, патристическую пьесу, где было побольше действий, а также слез, криков и порохового дыма.

Была у него одна невинная страстишка, а пожалуй, даже призвание – разгадывать в журналах и газетах всевозможные ребусы, шарады, арифмографы, криптограммы и прочую путанную белиберду. В этой пустяковой области Цвет отличался несомненным, выдающимся, исключительным талантом, и много было случаев, что он для своих товарищей и знакомых, выписывающих недорогие еженедельные издания, разгадывал шутя сложные премированные задачи. Высоким мастером был он также в чтении всевозможных секретных шифров, и об этом странном даровании Ивана Степановича наша правдивая, хотя и неправдоподобная повесть рассказывает не случайно, а с нарочитым подчеркиванием, которое станет ясным в дальнейшем изложении.

Изредка, в праздничные дни, под вечерок, заходил Цвет – и то по особо настойчивым приглашениям – в один трактирный низок под названием «Белые лебеди». Там иногда собирались почтамтские, консисторские, благочинные и сиротские чиновники, а также семинаристы и кое-кто из соборных певчих – голосистая, хорошо сладившаяся, опытная в хоровом пении компания. Толстый и суровый хозяин, господин Нагурный, страстный обожатель умильных церковных песнопений, охотно отводил на эти случаи просторный «банкетный» кабинет. Пелись старинные русские песни, кое-что из малорусского репертуара, особенно из «Запорожца за Дунаем», но чаще – церковное, строгого стиля вроде «Чертог твой вижду», «Егда славнии ученицы», или из бахметьевского обихода греческие распевы. Регентовал обычно великий знаток Среброструнов от Знамения, а октаву держал сам знаменитый и препрославленный Сугроров, бродячий октавист, горький пьяница и сверхъестественно глубины бас. Хозяину Нагурному петь раз навсегда было строго запрещено, вследствие полного отсутствия голоса и слуха. Он только дирижировал головой, делал то скорбное, то строгое, то восторженное лицо, закатывал глаза, хлопал носом и – старый, потертый крокодил – плакал настоящими, в орех величиною, слезами. И часто, разнежившись, ставил выпивку и закуску.

На этих любительских концертах Иван Степанович, случалось, не мог отказаться от стакана-другого пива, от рюмочки сантуринского или кагора. Но приятнее ему было все-таки скромно угостить хорошего знакомого, чаще всего – волосатого или звероподобного октависта Сугрובה, к которому он питал те же почтительные, боязливые, наивные и влюбленные чувства, какие испытывает порою пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником в сияющей медной каске.

II

Двадцать шестое апреля пришлось как раз в воскресенье, в храмовой праздник прихода, где пел Иван Степанович. Кроме обычной обедни, была еще отслужена заупокойная литургия, заказанная вдовой именитого купца Солодова, по случаю мужниных сороковин. Певчие, старавшиеся вовсю, были награждены расплакавшеюся купчихой с неслыханной щедростью (поговаривали, что покойный сильно поколачивал в хмелю свою супругу и что еще при жизни мужа она утешалась с красавцем старшим приказчиком). После литургии пропели панихиду на дому, а к поминальному обильному столу, вместе с духовенством и нарочито приглашенным соборным протодьяконом, был позван и церковный хор.

День закончился в «Белых лебедях» настоящим разливанным морем, и как-то само собой случилось, что Цвет, всегда умеренный и не любивший вина, выпил гораздо более того, что ему было допущено привычкой и натурой. Но от этого он вовсе не потерял своих милых и теплых внутренних свойств, а, наоборот, забыв о всегдашней застенчивости и слегка распахнувшись душой, стал еще добрее и привлекательнее. С нежной предупредительностью подливал он пиво в стакан то октависту Сугробову, то огромному протодьякону Картагенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвальчик. Восторженно слушал он, как эти две городские знаменитости, оба красные, потные, мохнатые с напряжившимися жилами на шеях, переговаривались через стол рокочущими густыми голосами, заставлявшими тяжело и гулко колебаться весь воздух в низкой и просторной комнате. Обнимал он также и многократно целовал жеманного, курчавого и толстого Сребструнова, уверял, что место ему по его великим талантам быть не регентом в маленьком губернском городе, а по крайней мере управлять придворной капеллой или московским синоидальным хором, и клятвенно обещался подарить к именинам Среброструнова золотой камертон с надписью и к нему – замечательный футляр из красного сафьяна, собственно ручной работы.

В этот вечер пели мало и не по-всегдашнему стройно: сказались усталость и купеческое широкое хлебосольство. Но говорили много, громко, возбужденно и все разом. Высокие носовые и горловые ноты теноровых голосов плыли и дрожали на фоне струнного басового гудения, точно сверкающая рябь солнечного заката на глубокой полосе спокойной, широкой реки. И Цвету мгновеньями казалось, что он сам среди пестрого говора, в синих облаках табачного дыма, пронизанного мутными пятнами огней, тихо плывет куда-то в темную даль, испытывая сладкое, сонное, раздражающее головокружение, какую-то приятную, лазурную, с алыми пятнами одурь. Порою отдельные куски разговора вставали перед ним с необыкновенной, преувеличенной яркой ясностью.

– Я и не скрываю. Чего мне скрывать? – говорил смуглый, угреватый и мрачный баритон Карпенко. – Есть у меня один выигрышный билет. Первого мая ему розыгрыш. Хоть он и заложенный, а все-таки я его сколотил на мои кровные труды, и никому до этого нет никакого дела. Вот назло выиграю первого мая двести тысяч и брошу к чертовой матери и хор, и службу. И заживу паном. Положу деньга под закладную дома из десяти процентов. Проценты буду проживать, а капитал не трону. Двадцать тысяч в год. Буду обедать у Смутьского, а за обедом портвейн пить по два с полтиной бутылка. Попробуй-ка у меня тогда занять денег. А н-ни копейки, ни грошика. Н-никому! Зась!

– Го-го-го! – загрохотал оглушительно Картагенов. – Я раз выиграл на билет пятьсот рублей.

– Как это так, отец дьякон? На билет от конки?

– Ничуть не бывало. Взаправду. Мой батька, как вам, может быть, известно, был, вроде меня, соборным протодьяконом, но только не здесь, а в Москве. И голосом он обладал ужасающим, вроде царя-колокола или самолетского парохода. Что я перед ним? Моз-гляк! – рявкнул

Картагенов, и от его возгласа заколебались огненные языки в лампах. – Однажды ему за свадебного апостола купцы подарили шесть выигрышных билетов. Тогда они еще по сту с небольшим ходили. Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и роздал, как карты, не глядя, и потом на каждом написал имена: свое, маменькино и нас четверых: мое, двух братьев и сестренкино. И засунул за образа.

Однако не застраховался. Побоялся искушения. Сказано в Писании: «Не надейтесь ни на князи, ни на сыны человеческие». И положил он между нами всеми такой нерушимый уговор: если кто выиграет пятьсот рублей, тому выигрыш идет целиком, малолеткам – ко дню их совершеннолетия. А на руки – немедленная единовременная премия, в пропорции возраста. Мне, например, было вычислено рубль сорок копеек. Если же на чей билет падет больше, то все деньги делятся между участниками и хранятся по уговору, хотя счастливцу все-таки выдается увеселительный наградной куш. За тысячу – три рубля, за пять тысяч – десять и так далее, с благоразумным уменьшением процента. За двести же тысяч – пятьдесят целковых, по тогдашнему времени – целый корабль с мачтами и еще груженный золотом.

Пришло первое мая. Отец нарочно купил газету, надел очки и смотрит. Глядь – готово. Мой номер. Цифра в цифру. Так и напечатано: вышел в тираж погашения номер такой-то, серия такая-то. Что такое за штука тираж – никому не было тогда известно: ни отцу, ни знакомым. Но, посоветовавшись с кое-какими ближними мудрецами, так и порешили, что, должно быть, слово это означает тоже выигрыш, а может быть, – почем знать? – и в удвоенном размере? Батя по этому поводу совершил обильное возлияние, а мне – на радостях было ввдано в задаток рубль и сорок копеек. Устроил я в тот же день Валтасарово пиршество. Купил на улице полный бочонок грушевого квасу и весь лоток моченых груш. Угостился с приятелем квантум сатис, даже до полного расстройств желудка.

Наутро батя попер с газетным листом на Ильинку к менялам, справиться, где и как получить выигранные деньги. Ему там и объяснили все его невежество. «Плакали, мол, отец дьякон, твои сто рубликов, а билет ты можешь оправить в рамку и повесить у себя в кабинете, как вечную память твоей глупости». Обиделся он самым свирепым образом. Вернулся домой, точно грозовая туча. И прямо ко мне: «Скидывай портки!» – «За что, папенька?» – «А за то, за самое. Не обжорствуй мочеными грушами, в них бо есть блуд!» И такую прописал мне ижицу ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно. А остальные пять билетов в тот же день продал. «Не хочу, – сказал, – потворствовать мошенническим аферам». Вот и все.

– Маловато, – заметил кто-то иронически.

– А что же? – возразил другой. – Хоть день, хоть час, а все-таки счастье. Разные там мечты, надежды, планы...

Все на минуту как-то задумчиво умолкли. Первым заговорил Среброструнов:

– Если бы мне двести тысяч, я объездил бы Россию, все города и захолустья, и набрал бы самый замечательный в мире хор. И пел бы я с ним в Москве. А потом стал бы концерттировать по Европе. Везде: в Париже, в Лондоне, в Риме, в Берлине. И приобрел бы я всесветную славу. А Сугрובה кормил бы сырым мясом и показывал в клетке за особую плату. Потому что за фанцией таких зверей еще не выдывано.

– Ве-ерно, – протянул протодьякон низким, мягким и густым басом.

– Да-а, – подтвердил Сугробов на кварту ниже. – А я бы, – заговорил он с оживлением, – я бы сто пятьдесят этак тысяч отдал жене и сказал бы: «Вот тебе отступное. Живи себе как хочешь, пой, играй, пляши, а я – до свидания. Попилили меня десять лет, попили моей крови, пора и честь знать». И ушел бы я на волю. За сим тридцать тысяч отведу в общий великий вселенский пропой, а на остальное куплю хату, на манер собачьей конуры, но с садом и огородом. И буду возрощать плоды и ягоды. И кор-не-пло-ды... – закончил он в нижнем контр-ля.

Многие засмеялись. Им было давно известно, в каком рабском подчинении держала этого могучего, черноземного, стихийного человека его жена – маленькая, тогда, языкатая женщина, ходячая злая скороговорка, первая ругательница на всем Житном базаре.

И сразу весь банкетный кабинет закипел общим горячим разговором. Как это часто бывает, соблазнительная тема о всевластности денег волшебным образом притянула и зажгла неутолимой волнением этих бедняков, неудачников и скрытых честолюбцев, людей с расшатанной волей, с неудовлетворенным аппетитом к жизни, с затаенной обидой на жестокую судьбу. И тут сказала, точно вывернувшись наизнанку, истинная, потаенная буднями натура каждого. Мечтали вслух о вине, картах, вкусной еде, о роскошной бархатной мебели, о далеких путешествиях в экзотические страны, о шикарных костюмах, собственных лошадях и громадных собаках, о великосветской жизни в обществе графов и баронов, о театре и цирке, об интрижке со знаменитой певицей или укротительницей зверей, о сладком ничегонеделании с возможностью спать сколько угодно часов в сутки, о лакеях во фраках. И, главное, о женщинах, о целом гареме из женщин, о женщинах всех цветов, ростов, сложений, темпераментов и национальностей.

Пожилой консисторский чиновник Световидов, умный, желчный и грубый человек, сказал ядовито:

– Ни у кого из вас нет человеческого воображения, милые гориллы. Жизнь можно сделать прекрасной при самых маленьких условиях. Надо иметь только вон там, вверху над собой, маленькую точку. Самую маленькую, но возвышенную. И к ней идти с теплой верой. А у вас идеалы свиней, павианов, людоедов и беглых каторжников. Двести тысяч – дальше не идут ваши мечтания. Но, во-первых, у вас у всех в общей сложности имеется наличного капитала один дырявый пятиалтынный. Во-вторых, ни у кого из вас не хватит выдержки съэ-кономить хотя бы сто рублей на покупку выигрышного билета. Карпенко, наверно, приобрел свой билет, зарезав родную тетку во время сна. И когда он выиграет двести тысяч, то как раз в тот же день его гнусное преступление раскроется и его, раба Божьего, повлекут в тюрьму. А в-третьих, даже и с билетом в кармане вероятность первого выигрыша равна одному шансу на десять миллионов, то есть почти нулю или бесконечно малой дроби. Стало быть, все, что вы говорите сию минуту, – одно суесловие, раздражение пленной и жалкой мысли. Двести тысяч! Что за скудность фантазии!

– Ему бы миллион, – сказал чей-то недружелюбный голос в конце стола. – Известно, консистория – место хлебное, а глаза у нее завидующие.

– А что же? – спокойно возразил Световидов, даже не обернувшись. – Мечтать о несбыточном, так мечтать пошире. Миллионов десять – это, скажем, недурно. Можно прожить умно, полезно и со вкусом. Но почему бы вдруг не сделаться, по мановению волшебного жезла, например, царем? Но и тогда ваши телячьи головы ничего острого не вообразят. Знаете, есть побасенка. Русского рязанского мужичка спросили: «Что бы ты, Митенька, делал, если бы был царем?» – «А я бы, – говорит, – сидел целый день у ворот на лавке и лузгал бы семечки. А как кто мимо идет – в морду. Как мимо – так в морду». Ваша готтентотская фантазия не намного дальше хватает. Явись хоть сейчас к вам, к любому, дьявол и скажи: «Вот, мол, готовая запродажная запись по всей форме на твою душу. Подпишись своей кровью, и я в течение стольких-то лет буду твердо и верно исполнять в одно мгновение каждую твою прихоть». Что каждый из вас продал бы свою душу с величайшим удовольствием, это несомненно. Но ничего бы вы не придумали оригинального, или грандиозного, или веселого, или смелого. Ничего, кроме бабы, жрания, питья и мягкой перины. И когда дьявол придет за вашей крошечной душонкой, он застанет ее охваченной смертельной скукой и самой подлой трусостью.

Световидов замолчал, и никто не возразил ему. Слова его были подобны ледяному компрессу на пылающую голову. Только кто-то, скрытый в синем табачном дыму, спросил из угла, обращаясь к Цвету:

– Эй ты, Иоанне Цветоносный. А ты бы что бы? А?

– Я? – встрепенулся Цвет. Он блаженными, блестящими глазами уставился на лампу, и тотчас же от ее огня отделился другой огонь и легко поплыл вправо и вверх. – Я бы? Мне ничего не надобно. Вот хоть бы теперь... светло, уютно... компания милых, хороших товарищей... дружная беседа... – Цвет радостно улыбнулся соседям по столу. – Я хотел, чтобы был большой сад... и в нем много прекрасных цветов. И многое множество всяких птиц, какие только есть на свете, и зверей... И чтобы все ручные и ласковые. И чтобы мы с вами все там жили... в простоте, дружбе и веселости... Никто бы не ссорился... Детей чтобы был полон весь сад... и чтобы все мы очень хорошо пели. И труд был бы наслаждением... И ручейки там разные... рыба пускай по звонку приплывает...

– Словом – рай! – прервал его Световидов.

А протодьякон, сидевший рядом, обнял Цвета, крепко притиснул к своей исполинской груди и одним сердечным поцелуем обмусолил его нос, губы, щеки и подбородок. И взревел ему в самое ухо:

– Ваня! Друг! Ангелоподобный!

Но в эту минуту появился хозяин трактира с третьим и последним напоминанием: «Во всем ресторане огни уже потушены. Пора расходиться. А то от полиции выйдут неприятности». Стали расходиться.

Цвет возвращался домой в самом чудесном настроении духа. С нежным чувством глядел он, как на небе среди клубистых, распушенных облаков стремительно катился ребром серебряный круг луны, пролагая себе золотисто-оранжевый путь. И пел он на какой-то необычайно-прекрасный собственный мотив собственные же слова акафиста всемирной красоте: «Земли славное благоутробие и благоухание и небеси глубина торжественная, людие веселием играша воспевающе...»

Взбирался он к себе на чердак очень долго, балансируя между стеной и перилами. По привычке бесшумно отпер наружную дверь, аккуратно разделся и лег в постель, поставив возле себя на стуле за-жженую свечу. Взял было утреннюю недочитанную газету. Но буквы сливались в мутные полосы, а полосы эти принимали вращательное движение. Наконец веки, отяжелев, сомкнулись, и сознание Цвета окунулось в бездонную темноту и в молчание.

III

– Извиняюсь за беспокойство, – сказал осторожно чей-то голос. Цвет испуганно открыл глаза и быстро присел на кровати. Был уже полный день. Кенарь оглушительно заливался в своей клетке. В пыльном, золотом солнечном столбе, лившемся косо из окна, стоял, слегка согнувшись в полупоклоне и держа цилиндр на отлете, неизвестный господин в черном поношенном, старинного покроя, сюртуке. На руках у него были черные перчатки, на груди – огненно-красный галстук, под мышкой древний помятый, порыжевший портфель, а в ногах у него на полу лежал небольшой новый ручной саквояж желтой английской кожи. Странно знакомым показалось Цвету с первого взгляда узкое и длинное лицо посетителя: этот ровный пробор посредине черной, седеющей на висках головы, с полукруглыми расчесами вверх в виде приподнятых концов бабочкиных крыльев, или маленьких рожек, этот тонкий, слегка крючковатый нос с нервными козлиными ноздрями; бледные, насмешливо изогнутые губы под наглыми воинственными усами; острая длинная французская бородка. Но более всего напоминали какой-то давнишний, полузабытый образ – брови незнакомца, подымавшиеся от переносья круто вкось прямыми, темными, мрачными чертами. Глаза же у него были почти бесцветны или, скорее, в слабой степени напоминали выцветшую на солнце бирюзу, что очень резко, холодно и неприятно противоречило всему энергичному, умному, смуглому лицу.

– Я стучал два раза, – продолжал любезно, слегка скрипучим голосом незнакомец, – Никто не отзывается. Тогда решил нажать ручку. Вижу, не заперто. Удивительная беспечность. Обокрасть вас – самое нехитрое дело. Знаете, есть такие специалисты воры, которые только тем и занимаются, что ходят по квартирам «на доброе утро». Я бы, конечно, не осмелился тревожить вас так рано. – Он извлек из жилетного кармана древние часы, луковицей, с брелоком на волосяном шнуре, в виде Адамовой головы, и посмотрел на них. – Теперь три минуты одиннадцатого. И если бы не крайне важное неотложное дело... Да нет, вы не волнуйтесь так, – заметил он, увидя на лице Цвета испуг и торопливость. – На службу вам сегодня, пожалуй, и вовсе не придется идти...

– Ах, это ужасно неприятно, – конфузливо сказал Цвет. – Вы меня застали неодетым, погодите немного. Я только приведу себя в порядок и сию минуту буду к вашим услугам.

Он обул туфли, накинул на себя пальто и выбежал в кухню, где быстро умылся, оделся и заказал самовар. Через очень короткое время он вернулся к своему гостю освеженный, хотя с красными и тяжелыми от вчерашнего кутежа веками. Извинившись за беспорядок в комнате, он присел против незнакомца и сказал:

– Теперь я готов. Сейчас нам принесут чай. Чем обязан чести.

– Сначала позвольте рекомендоваться. – Посетитель протянул визитную карточку. – Я ходатай по делам. Зовут меня Мефодий Исаевич Тоффель.

«Странно. И фамилия как будто бы знакомая», – подумал Цвет. Он слегка наклонил голову и с недоумением в глазах пробормотал:

– Очень приятно... Но я...

– Один момент... Простите, что перебиваю вас. Вашего покойного батюшку звали, если не ошибаюсь, Степаном Николаевичем. Не так ли?

– Совершенно точно.

– Хорошо. Значит, старшего его братца, тоже ныне покойного, имя-отчество было Апполон Николаевич? Верно?

– Верно. Но мне лично не приходилось ни разу в жизни видеть его. Я только изредка слышал о нем кое-что по семейным воспоминаниям родителей. Но это было уже очень давно... Так, какие-то мелочи и мне очень совестно, что я, кажется, совсем забыл их.

– Это вовсе и не важно Пара пустяков, – небрежно махнул рукой ходатай и тотчас же, раскрыв свой потертый портфель, вытащил из него с ловкостью фокусника и выкинул на стол одну за другой несколько бумаг разного формата. – Для нас самое главное в нашем деле то, что ваш почтенный дядюшка был при жизни большим оригиналом, то есть мизантропом, нелюдимом и даже, говорят, алхимиком. Словом – что называется – чудаком.

– Да, я что-то слышал в этом роде. Но помню это смутно, точно сквозь сон. Наша семья вообще не поддерживала с ним никаких связей. Утеряли их. Впрочем, без всякой ссоры.

– Так. Теперь ближе к делу. Десять лет тому назад ваш дядюшка волею судеб покинул земную юдоль. Для вас это событие, очевидно, не имело никакого существенного значения, кроме вполне естественного сознания горестной утраты. А между тем после Апполо-на Николаевича осталось небольшое наследство, состоящее из нескольких сот десятин недвижимости в Черниговской губернии: земля, лесок и довольно значительная усадьба со старым барским домом. Лет восемь это имущество считалось бесхозным, почти вымороченным. А так как я специально занимаюсь розысками по таким, неведомо кому принадлежащим имуществам, то, узнав случайно про Червоное, я и пошел по обратным жизненным следам вашего покойного дядюшки. Положение мое было довольно тяжелое. Завещания нет, законные наследники не объявляются. Соседи по имению знакомства с Апполоном Николаевичем не вели, видели его только издали и подозревали, что он был или масон, или изобретатель, или анархист – какое ему дело до завещания? Крестьяне же все убеждены, что он занимался чародейством и, пожалуй, даже продал душу дьяволу. Но путем разных намеков и умозаключений я стал медленно пробираться по этапам жизни вашего дядюшки и вот, наконец, в Витебске, в полустогоревшем архиве нотариуса, набрел на подлинное, хотя и очень старинное завещание, по которому земля и усадьба, с постройками и со всем живым и неживым инвентарем, должны перейти к старшему в роде. По наведенным справкам, этим старшим в роде являетесь вы, глубокоуважаемый Иван Степанович, с чем я и имею честь вас искренно поздравить.

Тоффель сидя поклонился. Цвет покраснел и протянул ему руку. Пожатие руки, обтянутой в черную перчатку, было твердо и сухо.

– И чтобы не быть голословным, – продолжал Тоффель, – позвольте предоставить вам все документы, ясно доказывающие ваши права. Вот завещание. Вот ввод во владение... Наследственные и иные пошлины. Вот расписка в получении поземельных и прочих налогов, с прибавкой пеней за истекшие годы. Вот тра-та-та, тра-та, – забарабанил ходатай казенными словами и пестрыми дробными цифрами.

Говоря таким образом, он с прежней привычной ловкостью быстро подсовывал Цвету одну за другой бумаги, четко написанные и набранные на машинке, отмеченные круглыми печатями, чернильными и сургучными, и украшенные мудреными завитушками подписей и росчерков.

«Как его звать? – подумал Цвет и поглядел на карточку, потом на Тоффеля. – Удивительно знакомое имя. И где же я, наконец, видел эту странно-памятную, необычайную физиономию?» И он сказал вслух с некоторой робостью:

– Но видите ли, почтенный Мефодий Исаевич. Все это так неожиданно... Я ничего не понимаю в подобных делах. И потом, ведь это так далеко – Черниговская губерния...

– Стародубский уезд, – подсказал Тоффель.

– Вот видите. Я положительно теряюсь и должен поневоле просить ваших указаний... Кроме того, ваши любезные хлопоты. Вы уж будьте добры сами назначить сумму вознаграждения.

Тоффель дружелюбно рассмеялся и слегка, очень вежливо, притронулся к коленке Цвета.

– Гонорар – второстепенный вопрос. Не обидим друг друга. Я наводил о вас справки. Простите, мы, деловые люди, не можем иначе. И повсюду я получил о вас сведения как о самом порядочном, честном человеке, как о настоящем джентльмене, к тому же весьма щед-

рого характера. За себя на этот счет я покоен. Ну, скажем, двадцать, пятнадцать процентов с казенной оценки? Если вам покажется чрезмерным, я удовольствуюсь десятью.

– О нет, пожалуйста, пожалуйста. Пусть будет двадцать.

– Признателен, – поклонился Тоффель. – И теперь раз уже вы сами сделали мне честь просить моего совета, позволяю себе усердно рекомендовать вам: немедленно же, как можно скорее, ехать в Черниговщину осмотреть имение. Я даже буду настаивать, чтобы вы отправились сегодня же.

– Позвольте, но это уж совсем немыслимо. Надо выпросить отпуск... Необходимо достать денег на дорогу... Собраться... И мало ли еще что?

– Пара пустяков, – самодовольно и ласково возразил ходатай. – Во-первых, вот вам ваш отпуск. Я его выхлопотал за вас еще сегодня утром через вашего экзекутора Луку Спиридоновича. К чести его надо сказать, что взял он с меня совсем немного и с готовностью побежал к председателю. Оба они рады вашему счастью, как своему собственному. Вы положительно баловень фортуны. Пожалуйте.

– Вы – волшебник, – прошептал изумленно Цвет, рассматривая свой месячный, по семейным надобностям, отпуск, подписанный председателем и скрепленный экзекутором. И даже почерк текста чуть-чуть походил на почерк самого Цвета, хотя Иван Степанович сейчас же подумал, что все каллиграфические рондо схожи одно с другим.

– И насчет денег не беспокойтесь. Мой долг – это уж так водится у нас, адвокатов, – ссудить вас заимообразно необходимой суммой, разумеется под самые умеренные проценты. Будьте добры пересчитать. В этой пачке ровно тысяча. Нет, нет, вы уж потрудитесь посплонить пальчики. Деньги счет любят. А вот и расписка, которую я заранее заготовил, чтобы не терять напрасно дорогого времени. Черкните только: «И. Цвет» – и дело в шляпе.

Цвет был ошеломлен.

– Вы так любезны и предупредительны... что я... что я... право, я не нахожу слов.

– Сущий вздор, – фамильярно, но учтиво отстранился ладонью Тоффель. – Пара пустяков. А вот теперь, когда формальности покончены, осмелюсь преподнести вам еще один сюрприз.

Из портфеля прежним чудесным способом появились два картонных обрезочка.

– Это билет первого класса до станции Горынище, а это – плацкарта на нижнее место. Билеты взяты на сегодня. Поезд отходит ровно в одиннадцать тридцать. Пароконный извозчик дожидается вас у подъезда. Вам, следовательно, остается только положить в карман паспорт и записную книжку, надеть шляпу, взять в руки тросточку и затем: «Andiam, andiam, mio saго...» – пропел очень фальшиво, козлиным голосом Тоффель. – А с вашего разрешения, я посиблю вам уложиться!

– Ах, что вы, помилуйте... Ради Бога! – смутился Цвет.

Лицо Тоффеля сморщилось шутиливой, но весьма отвратительной гримасой.

– Экий вы щепетильный какой. Но в таком случае не откажите уж принять от меня небольшой дорожный подарочек – вот этот саквояж. Нет, нет, убедительно прошу не отказываться. Я нарочно выбирал эту вещицу для вашего путешествия. Вы меня обидите, не приняв ее. Подумайте, ведь я с вас заработаю немалый куртаж.

– Спасибо, – сказал Цвет. – Прелестная вещь. – Он чувство вал себя неловко, точно связанным, точно увлекаемым чужой волей Минутами неясная тревога омрачала его простое сердце. «Какая изысканная заботливость со стороны этого чужого человека, думал он, – и как поразительно скоро совершаются все события! Право – точно во сне. Или я и в самом деле сплю? Нет, если бы я спал, то не думал бы, что сплю. И лицо, лицо... Где жея его видел раньше?»

– Но как все это необыкновенно, – сказал он из глубины шкафа, где перебирал свои туалетные принадлежности. – Если бы мне вчера кто-нибудь предсказал сегодняшнее утро, я бы ему в глаза рассмеялся.

Он медлил, но Тоффель с дружеской настойчивостью, одновременно почтительной и развязной, продолжал погонять его.

– Ах, молодой человек, молодой человек... Как мало в вас предприимчивости. Впрочем, и все мы, русские, таковы: с развальцей, да с прохладцей, да с оглядочкой. А драгоценное время бежит, бежит, и никогда ни одна промелькнувшая минута не вернется назад. Ну-с, живо, по-американски, в три приема. Ваши новые ботинки за дверь. Я попросил горничную их вычистить. Вас, может быть удивляет, что я вас так тороплю? Но, во-первых, я и сам не имею ни секунды свободной. Вот провожу вас, и сейчас же мне надо скакать в уезд, по срочным делам. Волка ноги кормят. Ничего, ничего... Одевайтесь при мне без всякого стеснения. Я – мужчина. А во-вторых, сами посулите, что выйдет хорошего, если вы проканителитесь в городе несколько лишних дней? Ведь теперь уже всем вашим знакомым и множеству незнакомых известно через экзекутора о свалившемся на вашу голову наследстве. О, мне хорошо известна человеческая натура. Начнут клянчить займы, потребуют вспрыснуть получку, добрые мамаша взрослых дочерей устроят на вас правильную облаву с загоном. Вы – человек слабый, мягкий, уступчивый, хороший товарищ. Еще завертитесь, чего доброго, наделаете долгов. Я знаю такие примеры. А тут еще подвернется какое-нибудь этакое соблазнительное увлечение, вроде красотки из кондитерской, как та – помните? – полная блондинка за прилавком у Дюмона, первая от окна, с сапфировыми глазами? Право, слушайте вы меня, старого воробья. Я худу не учу. Тем более, что вы с первого взгляда внушили мне самую глубокую, можно сказать отеческую, симпатию. Вы только не обращайтесь на меня внимания, укладывайтесь, укладывайтесь! А я тем временем передам вам кое-какие нужные сведения. Простыней и подушек, пожалуйста, уж не берите с собой. Все дадут вам в спальном вагоне, а в усадьбе есть много прекрасного, тонкого голландского белья. И сорочек много не надо. Две, три перемены. Возьмите мягкие, *fantaisie*. Немного платков и носков. Прескверная у нас привычка путешествовать с целым караван-сараям. По этой примете всегда за границей узнают русских. Берите только то, что уместится в саквояж. Остальное лишнее. Едете всего на два, на три дня.

Ну так слушайте же. Имение, правду говоря, хоть и не заложено, но в страшном забросе. Триста с небольшим десятин. Из них удобной земли полтораста, и ту запахали дружественные поселяне. Владение обставлено сотнями идиотских неудобств. Чересполосица, рядом чиншевые наделы, до сих пор существует не только сервитутное право, но даже в силе какая-то, черт бы ее побрал, «улиточная запись». Нет, совсем серьезно уверяю вас, что есть и такие юридические курьезы! Мое мнение – землю надо продать. Возиться с ней – это, как говорят поляки, «более змраду, як потехи». Тут не только вы с вашей полной неопытностью, но даже первый выжига, кулак, практик сядет в калошу... Вы выбираете галстуки? Советую вам этот, черный и белыми косыми полосками. Он солиднее... Остается усадьба. Она велика, но мрачна и на сыром месте. Фруктовый сад стар, запущен и выродился без ухода. Инвентаря – никакого. Дом – сплошная рухлядь, гнилая труха. Деревянная, источенная червями двухэтажная постройка времен Александра Первого, с кривыми колоннами и однобоким бельведером. На него дунуть – рассыплется. Стало быть, и усадьбу побоку. Вы только осмотритесь там на месте, а я уж здесь, будьте покойны, приищу вам невредного покупателя. Вряд ли и вещи сколько-нибудь ценные найдутся в доме. Все – хлам. Осталась там небольшая библиотека, но она вас мало заинтересует. Все больше по оккультизму, теософии и черной магии... Ведь вы человек верующий? – Тоффель, не оборачиваясь, кивнул головой назад, на образа. И, должно быть, от этого движения судорога скрутила ему шею, потому что он болезненно сморщился. – И вам, такому свежему, милому, не след, да и будет скучно заниматься сумасбродной ерундой. Вы лучше эту пакость сожгите! А? Право, сожгите. Я говорю из чувства личной, горячей симпатии к вам.

Обещаете сжечь? Да? Хорошо? Ну, дайте же, дайте мне слово, прелестный, добрый Иван Степанович.

– Даю, даю. Сделайте милость. Господи!

– Крр... – издал ходатай горлом странный трескучий звук.

– Что с вами? – заботливо спросил Цвет.

– Ничего, ничего, не беспокойтесь. Немного поперхнулся. Что-то попало в дыхательное.

Ну, вы, кажется, готовы? Так едемте же. На вокзале у нас еще хватит времени слегка позавтракать и распить за здоровье нового помещика бутылочку поммери-сек. Нет, уж вы выходите первым. Я за вами. По-румынски. Вот так.

Через час этот энергичный, всезнающий, все предвидящий делец услужливо подсаживал Цвета на ступеньки вагона первого класса. В последнюю минуту как-то само собой очутилась в его руках изящная, небольшая плетеная корзиночка. Подавая ее вверх, в руки Цвета, он сказал с приятной улыбкой:

– Не откажитесь принять. Это так... дорожная провизия... немного икры, рябчики, телятина, масло, яйца и другая хурда-мурда. И парочка красного, мутон-ротшильд. Не поминайте же лихом. Ждите от меня телеграммы... А если будет надобность, телеграфируйте мне сюда, в Бель-вью. До свидания. Не хочу затруднять нелепым ожиданием у вагона. Мои комплименты.

И галантно поцеловав кончики обтянутых черной перчаткой пальцев, он скрылся в толпе.

IV

Дорога промелькнула необыкновенно быстро. Ни разу еще в своей жизни не путешествовал Цвет с такими широкими удобствами, и никогда не бежало так незаметно для него время. Попадались ему очень любезные спутники – вежливые, внимательные, разговорчивые без навязчивости. Сладко и глубоко спал Цвет две ночи под плавное укачивание пульмановских рессор, а днем любовался из окна на реки, поля, леса и деревни, проходящие мимо и назад, или основательно и с толком закусывал в светлом нарядном вагоне-ресторане, где на блестящих снежных скатертях раскачивали свои яркие головки цветы, а за столами сидели обычные дамы поездов-экспрессов: все, как на подбор, большие, пышнотелые, роскошно одетые, самоуверенные, с громким смехом и французскими словами, – женщины, пахнувшие крепкими, терпкими духами. Для него они были созданиями с другой планеты и возбуждали в нем любопытство, удивление и стеснительное сознание собственной неловкости.

Одно только беспокоило и как-то неприятно, пугающе раздражало Цвета в его праздничном путешествии. Стоило ему только хоть на мгновение возвратиться мыслью к конечной цели поездки, к этому далекому имению, свалившемуся на него точно с неба, как тотчас же перед ним вставал энергичный, лукавый и резкий лик этого удивительного ходатая по делам – Тоффеля, и появлялся он не в зрительной памяти, где-то там, внутри мозга, а показывался въявь, так сказать живьем. Он мелькал своим крючконосым, крутобровым профилем повсюду: то на платформе среди суетливой станционной толпы, то в буфете первого класса в виде проشمывнувшего вокзального лакея, то воплощался в затылке, спине и походке поездного контролера. «Просто какое-то наваждение, – думал тревожно Цвет. – Неужели так прочно запечатлелся в моей душе этот странный человек, что я, даже отделенный от него большим пространством, все-таки брежу им так сильно и так часто».

К концу вторых суток Цвет сошел на станции Горынище и нанял за три рубля сивоусого дюжего хохла до Червоного. Когда Цвет по дороге объяснил, что ему надо не в деревню, а в усадьбу, возница обернулся и некоторое время рассматривал его с пристальным и бесцеремонным любопытством.

– Так-таки до самого, до паньского фольварку? – спросил он, наконец, недоверчиво. – До того Цвита, що вмер?

– Да, в имение, в господский дом, – подтвердил Иван Степанович.

– Эгэ ж. – Старик чмокнул на лошадей губами. – А вы сами из каких будете?

Цвет рассказал вкратце о себе. Упомянул и о наследстве и о родстве. Старик медленно покачал головой.

– Эх, не доброе дило... Не фалю.

– Почему не хвалите, дядя?

– А так... Не хочу...

И замолчал. Так они в безмолвии проехали около двенадцати верст до села Червоного, раскинувшегося своими белыми мазанками и кудрявой зеленью садов на высоком холме над светлой речонкой, свернули через плотину и подъехали к усадьбе, к чугунным сквозным воротам, распахнутым настезь и криво висевшим на красных кирпичных столбах. От них вела внутрь заросшая дорога, посредине густой аллеи из древних могучих тополей. Вдали серела постройка, белели колонны и алым отблеском дробилась в стеклах вечерняя заря. У ворот старик остановил лошадей и сказал решительно:

– Вылазьте, ну, панычу. Бильшь не пойду.

– Как же это так не поедете? – удивился Цвет. – Осталось ведь немного. Вон и дом виден.

– Ни. Не пойду. А ни за пять корбованцив. Не хочу. Цвет вспомнил слова Тоффеля о дурной славе, ходившей среди крестьян про старую усадьбу, и сказал с принужденной усмешкой:

– Боитесь, верно?

– Ни. Ни трошки не боюсь, а тильки так. Платите мини мои гроши, тай годи.

Попросив извозчика подождать немного, Цвет один пошел по темной, прохладной аллее к дому. Тоффель говорил правду. Постройка оказалась очень древней и почти развалившейся. Покривившиеся колонны, некогда обмазанные белой известкой, облупились и обнажили гнилое, трухлявое дерево. Кое-где были в окнах выбиты стекла. Трава росла местами на замшелой, позеленевшей крыше. Флюгер на башенке печально склонился набок. В саду, под коряво разросшимися деревьями, стояла сырая и холодная темнота. Крапива, лопухи и гигантские репейники буйно торчали на местах, где когда-то были клумбы. Все носило следы одичания и запустения.

Цвет обошел вокруг дома. Все наружные двери – парадная, балконная, кухонная и задняя, ведшая на веранду из разноцветных стекол, – были заперты на ключ. С недоумением, скукой и растерянностью вернулся Цвет к экипажу.

– А где бы мне здесь, дяденька, ключи достать? – спросил он. – Всюду заперто.

– А чи я знаю? – равнодушно пожал плечами мужик. – Мабудь у гоподина врядника, чи у станового, чи у соцького, а мабудь у старосты альбо учителя. Теперички вси забули про цее бисово кубло. И хозяина нема ему. Вы мене, просю, звините, а тильки люди недоброе балакают про вашего родича. Бачите – такее зробилось, що кажуть, поступил он на службу до самого до чертяки... И загубил свою душу, а ни за собачій хвист. И вас, паньчу, нехай боронит Господь Бог и святыи Мыкола.

Он едва заметным движением перекрестил пуговицу на свитке. Внезапно откуда-то сорвался ветер. Обвисшая половина ворот пошатнулась на своих ржавых петлях и протяжно закрипела. «Точь-в-точь как голос Тоффеля», – подумал Цвет. И в тот же миг рассердился на себя за этой назойливое воспоминание.

– А ну, седайте, паньчу, скорійше и поидемте до села, – сказал хохол.

Опять пришлось переправляться через плотину и подыматься вверх в Червоное. После долгих розысков, наводивших суеверный ужас на простодушных поселян. Цвет отыскал, наконец, след ключей, которые, оказалось, хранились уже много лет у церковного сторожа. Сообщил ему об этом священник. У него Иван Степанович немного передохнул и даже выпил чашку чая, пока толстопятая дивчина Гапка бегала за сторожем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.